

Валерий Аршанский

ГЛУХЕНДРЯ

Рассказ



Валерий Семенович Аршанский родился в 1945 году в Магнитогорске. Прозаик и публицист. Многие годы работал в сфере печати Мичуринска и Тамбова. Автор 19 книг художественной и документальной прозы. Печатался в ведущих столичных и региональных литературных изданиях. Лауреат ряда литературных и журналистских премий. Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тамбовской области. В настоящее время работает заместителем генерального директора Издательского дома «Мичуринск». Живет в Мичуринске.

Двугорбые горы на востоке проступали иссиня-черными великанами, пока не забрезжил над ними слабый солнечный цвет; едва тронул он оранжевой кистью очертания далекого «верблюда», как все стало на свои места — и поросшие лесом, но не такие уж исполинские и не такие уж безоглядные возвышенности, и холодные, серые, густые, все еще непроглядные после ночной темноты низины на западе. Обозначились в зубчатой чаще и приземистые домишки (или правильно их назвать по-здешнему — сакли?), уступами оседлавшие горы по замысловатой траектории.

Лиловая осень монотонно кропила мелкими дождичками безответную каменистую почву, а незримые художники, аккуратно прикасаясь к природным мольбертам, тонкой кистью наносили на листву мазки позолоты, охры, багрянца. Небеса зябко кутались в плотное перкалевое покрывало. И медленно, степенно, величаво в уютное межгорье вливался задумчивый спутник осени — сизый туман. Фантазеры могли легко разглядеть в его причудливой конфигурации что угодно: кто кавказскую бурку, кто прокурорскую мантию, кто полы солдатской шинели. А вот поэт увидел иное: синий туман, похожий на обман. Как бы это себе представить?

Анна Тимофеевна, не изменяя многолетней привычке, и здесь, в санаторной палате, стоя у распахнутого окна в просторной майке и спортивных шароварах, заученно разминала кисти рук, стопы, шею, не прислушиваясь к голосу радио, тихо бубнящего в это же самое время наставления по утренней гимнастике, а следуя своей методе, которую сама придумала, прочно усвоила и которой привыкла доверять безоголосно, как пилот летательному аппарату. С годами организм выработал настолько точный внутренний калькулятор, что и никакая арифметика не требовалась, тело само безошибочно определяло ритм начала и окончания упражнений.

Руки на затылок, поворот влево, теперь вправо, наклон вперед, назад! Меняем положение рук, поворот вправо, поворот влево, голову назад, вперед...

Вновь всплыло перед глазами смуглое личико девушки, облаченной в местный наряд, ее умоляюще сложенные на груди руки. Как, интересно, теперь называются культорганизаторы, раньше это были воспитатели, пионервожатые?..

— Анна Тимофеевна, миленькая! Может быть, все же придете, ой, что я говорю, придете к нам? Мы хорошую машину организуем, и отвезем, и привезем. Ребята вас так ждут! Как узнали? Только не выдавайте: на ресепшн сообщили, что в гостях легендарная Лебедева Анна Тимофеевна. Нашим выпускникам в этом году наверняка тема о войне достанется, вы так им поможете своими воспоминаниями...

Анна Тимофеевна, ссылаясь на осипший голос (хорошо хоть миниатюрные наушники слухового аппарата успела замаскировать под волосы), на скачки давления и общее недомогание, пыталась уклониться, вежливо отговориться от настойчивого приглашения большеглазой говоруньи. Но милая собеседница, точно сошедшая со знаменитого портрета «Девочка с персиками», фруктом оказалась не по возрасту решительным, настойчивым, никак не желающим уступить.

— Анечка Тимофеевна, ну пожалуйста! Вы же прекрасная рассказчица, моя мама плакала на той передаче, в День Победы, когда вам космонавты букет белых роз подарили, а сын и внучка — пуховую шаль... Мы в библиотеке большой стенд соорудили, придете — увидите, собрали все-все о вас, а в центре ваша книга «Мы были добровольцами» и крупным планом фотография, ребята с экрана телевизора сняли...

Вспомнила! Эта девушка, Оля, заведует школьной библиотекой, она же говорила...

«...И множество набежавших татар вступило в смертельную схватку с русскими служилыми людьми...» Господи! Каким пугающим басом прорвало вдруг телевизор за стеной...

— Олечка, а вы знаете, сколько мне лет? Как воспримут ваши школьнички, что вместо нарумяненной, накрахмаленной красоти в пилотке к ним пожалует бабушка — седая, сгорбленная, с палочкой и в очках, — все еще пыталась слабо сопротивляться Анна Тимофеевна. Но упрямая креолка явно здешних, кавказских, кровей оставалась твердой, непреклонной, как бывший комбат Малюков, так и не сдавший в боях под Купянском понтонный мост фрицам.

— У нас прекрасные, воспитанные ребята, — увещевала гостью нарзанного края Олечка. — Представляете, пригласили мы на «Школьную панораму» Пичужкина Якова Осиповича, он в городе пищевым комбинатом заведует. Дядечка, знаете, весь такой импозантный, пальцы в коль-

цах и перстнях, но у него что ни слово — то табу для детей и дам. Начал он рассказывать о своем производстве, мы с напарницей скрылись за книжными стеллажами, давимся смехом, угораем, а ребятам какво? Но сидят молча, правда, переглядываются, перемигиваются, губы покусывают... А гостя понесло. Он такие перлы выдает: «На нас, пищевиках, все ваши животы держатся...» Потом, я запомнила еще один прикол: «Если на столе запендряка, то и мужик — бяка». Вот что такое «запендряка», Анна Тимофеевна? И я не знаю. А Пичужкин молодец, где только может очки набирает, в депутаты собрался баллотироваться...

Все еще продолжая встряхивания кистей рук, стоп, наклоны влево-вправо, Анна Тимофеевна вела незримый бой сама с собой: идти — не идти. «Восемьдесят с хвостиком, куда тебе к детям, запендряка?» — «А что, лучше, если деточки на бездарных фильмах о санитарках с маникюром представление о войне получают?» — «Твое какое дело? Умнее Лимонадного Джо хочешь быть? Он рот не закрывает, только и льет патоку о перестройке да гласности в безалкогольном обществе. Обрыдло уже слушать его сладкие напевы...»

Анна Тимофеевна, переходя к водным процедурам, все продолжала самоедски машинально рассуждать: почему на прошлой встрече так громко перешептывались две рослые девчонки, сидевшие у окна? Элементарная невоспитанность? Свои наряды обсуждали? Или о кавалерах не наговорились? Почему зевал, не прикрывая рот ладошкой, мальчишка с последней парты-«камчатки», всем видом показывая, как ему сейчас не интересно? И с какой стати каждый раз отводил глаза в сторону, хотя она обращалась в первую очередь именно к нему, к его разуму, тот явный отличник из первого ряда, выбранный ею как «мишень» для разговора? Не зацепило? Не понравилось? Скучно? Хотя... Птичий пух ведь проступил у отрока на щеках! Значит? Ясен пень.

Все стало на свои места. «Гораздо больше моих пустынных фраз волнует, влечет, будоражит парня соседка, озорная гимназистка с ямочками на щеках и выдающимися формами под фартушком», — улыбнулась Анна Тимофеевна и почти строго остановила себя. Ах, Анечка! Прекрати ты это копание в чужих душах, неужели ты в их годы не влюблялась? Влюблялась. Только влюбляться нам суждено было ненадолго. До перил военкомата. А после «гражданки» с переобуванием в старшинской каптерке из туфелек-«лодочек» в кирзовые сапоги да переодеванием-обмундированием из легких школьных платиц в колючие гимнастерки с неподдающимися пуговками на вороте, после саратовской двухмесячной «учебки» — учебного взвода связи, — где гаркали на курсантов горластые командиры, как на домашних животных, — совсем уж все девичьи сны, томные свидания под цветущими липами и охи-вздохи под луной отшибло. Чуть свет — старшинский клич: «Подъем! Пять минут оправиться, строиться выходи!» Два кэмэ утренней рысцей вокруг сквера, жидкий манной «пудинг» на завтрак... И каждый божий день наряды, караулы, дневальство-дежурство, политзанятия, плац, строевая подготовка, сто раз на день построения, учебные стрельбы, прогорклая оружейная комната, страшные неизвестностью громоздкие аппараты связи... Вот во что приходилось влюбляться.

Как передать те ужасы войны юной поросли? А то ты, Аня, не знаешь, как? Больше рассказывать правды, больше честности, а не глянцевого «ура-ура!», вроде как и не было у нас, особенно в первые месяцы войны, ужасного плена, драп-марша от превосходящих сил противника, без-

дарных действий топоологовых командиров и расстрелов дезертиров, паникеров перед строем... Окопную правду нужно показывать, чтобы знали юнцы, каких чудищ, каких людоедов мы победили. И про миллионы пленных не скрывать, и про то, что к войне ни черта не были мы готовы, и про жуткие ранения мальчишек-бойцов, и про нелепые смерти, и про отступления... И про победы, конечно же! Пусть горькая будет микстура, зато истинная правда о тех, кто стоял на передовой. И это куда как полезнее и целительнее, чем правдоподобное вранье тыловиков и обозников. У нас тут же начнется худсовет: «очернение», «искажение», «извращение». А вы бы видели, знатоки, то, что я видела...

Как с большой охапкой утром сорванных ромашек бежала по Гомельскому полевому аэродрому на встречу с девчонками-землячками, и вдруг прямо в их капонир жажнул «оттуда» минометный снаряд. За ним — другой, третий. Оглушительный грохот сопровождал каждое попадание боеприпаса, тошнотворно отравлял воздух едкий дым, не давала дышать гарь, ползла широкой волной мутная смесь пороха и пироксилина. Пришлось свалиться в какую-то отвратительную, смрадную канаву на обочине, прикрыть голову руками и молиться всем богам: «Господи, помилуй!», просить защиты у мамочки и вновь молиться боженьке, а проклятый немец вел и вел обстрел, никак не желая остановиться, перезарядиться, захлебнуться. Последний, самый сильный минный удар превратил в глубокую воронку все. Рухнули, как в ущелье, блиндаж, обе зенитки, а вместе с ними и пятеро девчоночек, молоденьких добровольцев из нового набора, от которых... которым... ой, боженьки, опять эти страшные картины, наваждения... которых... просто не стало. Некого и нечего было хоронить.

Это потом, потом наши командиры научились в линейных рядах устраивать ячейки для укрытия бойцов при обстрелах, а в начале войны фрицы упивались нашим незнанием простых фортификационных хитростей, недаром и минометы свои они называли траншейной метлой, выметающей все на своем пути...

Успокойся, Анечка, а то опять ведь будешь валидол глотать. Больше чем полвека минуло, и воспоминания твои остались в далеком, как этот ускользающий туман, безвозвратном прошлом. Хорошо хоть никто не помешал книгу издать, где сумела сказать все, что хотела, что видела своими глазами, слышала своими ушами, знала...

Энергичнее, еще и еще энергичнее, еще и еще старательнее орудя мочалкой, Анна Тимофеевна уголками рта улыбается своему отражению в зеркале. С добрым утром, деточки! Я ваша прабабушка. Вы, слава Богу, живете в благоустроенных домах и квартирах с центральным отоплением, горячим водоснабжением, шикарными ванными и санузлами, с пеленок знаете разные там смартфоны, шмарфоны, компьютеры. Папы и мамы катают вас в блестящих иностранных лимузинах. То, что для меня и людей моего поколения непреходящая боль — Великая Отечественная война, — для вас уже далекая Куликовская битва. Может быть, я не права, старая брюзга? Не знаю. Но мне часто кажется, что кто-то всемогущий специально заслоняет правду, подлинную историю, не открытые и десятки лет спустя военные архивы плотной непроницаемой ширмой. Хватит вам, дескать, любопытствовать, предки пострадали, отвоевали, завоевали и — баста. Слушайте теперь песни Басты.

Ага! Вот оно: в поддержку моих слов в голос загомонило курортное радио с развязной ведущей, явно не здоровой на голову. Новоявленная

«Звезда» сходу повела нескончаемое «ла-ла-ла» вместо слов. Как Тимур говорит, началось в колхозе утро! И не знающая ни стыда ни совести хамоватая радиоатаманша — не расслышала, с каким она выступает прозвищем — то ли Кока, то ли Мокко? — приступила к музыкально-обозному воспитанию подрастающего поколения. Для затравки сообщила, что «два кусочка колбаски у меня лежали на столе». Э? Каково? Bravo, пупсики. Дальше? «Рюмка водки на столе». «Реально. Пипец. По чесноку». А еще «как бы», «на самом деле», «это, как его», «ну, значит» — постоянно повторяет кем-то ведь допущенная к всеозному эфиру Кока, самый грамотный эксперт по туалетной бумаге. На фоне утренних новостей она с глубоким знанием «этого дела» детально обсуждает с угодливо подхихикивающими ее шуточкам парнями-диджеями применение разных видов «туалетки», отдавая личное предпочтение трехслойной. Остается Коке только одно: всенародно показать ее применение на практике.

Убив туалетную тему, это самое Коко-Мокко тут же без всякой связи переходит на высокие рассуждения о любви. Песней разъясняет, как забрать ее пьяную домой (сама, наверное, эту пошлятину сидя на унитазах сочинила, сама стала распевать), следом гундосит арию про какую-то истеричку и обманутую невесту, а под занавес объясняет, как надо любить по-французски. Истинные парижане — Гюго, Стендаль, Мопассан и Флобер вкупе с Бальзаком — рты бы открыли от удивления, они же ничего о таком «сексе-кексе» и знать не знали.

Но терзает не столько ушат пошлости, похода вылитый вульгарной певичкой, сколько последствия: поклонники развязной Коки, подросток-тинейджер, разве будут слушать историю фронтовички про Днепрскую переправу, про первый ее орден Красной Звезды, полученный из рук самого Ивана Степановича Конева, тогда еще не маршала, а генерала? Про зимние ночевки в чистом поле под ракетами. И, как счастье, ночной сон на неостывшей печке-лежанке, единственной оставшейся посреди пустынного двора на месте сожженной гитлеровцами хаты... Сон! Спать! Выспаться вдоволь без подъемов, боевых тревог, ночных дозоров и караулов — вот чего хотелось больше всего каждому армейцу, смыкающему глаза в пешем строю на дальних переходах. Спросите! Подтвердят.

Солдаты 6-й инженерно-саперной бригады, измотанной непрерывными бомбежками, прицельным обстрелом гитлеровской артиллерии, едва выйдя с «передка» в тыл, повалились, как подкошенные, на притрушенный старой соломой пол в каком-то сельском клубе под Валуями. Черт с ним, с обедом, все равно сухомытка! Отстань ты, каптер, со своей переобувкой и выдачей чистых портянок, потом, потом, все потом, успеем, поменяем или отдадим в прожарку ношенные кальсоны и рубахи. А сейчас — эй, подвинься, браток, кину-ка я свой «сидор» под голову, и не буди ты нас, командир, дай покомарить всласть, совсем мы позабыли, что такое нормальный сон, дом и тишина.

Таким запомнился первый январский день сорок третьего. На редкость удачный день. Божественный подарок, когда, протопав накануне маршем не меньше пяти верст с полной выкладкой — скатками, вещевыми мешками-«сидорами», оружием и снаряжением, — повалились вповалку и проспали с утра до вечера, чего не бывало, пожалуй, с мирного времени. Спасибо и в пояс низкий поклон незнакомой селянке, прятанной от солдат лицо под низко надвинутой хусткой (по-нашему — плат-

ком), где-то раздобышей дров и поддерживавшей накал в самодельной «буржуйке», не давая ни на час остыть печному жару. Маме помогали таскать и колоть на щепки дровеняки-штaketины, греть воду в закопченном пузатом чайнике двое ее сыновей: судя по росту, вроде как школьники. Такие же, как и она, молчаливые, закутанные поверх куцых пальтишек в бабушкины ветхозаветные платки, извлеченные из глубины домашних сундуков — деревянных «скрын». В минуты отдыха мальчишки с уважением рассматривали боевое вооружение саперов: составленные в пирамиду под охраной дневального винтовки с примкнутыми штыками, автоматного вида пистолеты-пулеметы Шпагина, именуемые ППШ, и сами пулеметы на колесиках, цинковые ящики с патронами... С неподдельным интересом хлопчики, растущие без отца, застывали близ мужиков-храпуннов, способных бычьим рыком своим заменить гудок паровоза. Но развлечение длилось недолго. Постояли, потолкались, хмыкая в ладошку, и — бегом на улицу, маме помогать. В награду за труды праведные пожилой каптерщик отчекрыжил семье полковриги ржаного хлебушка и вложил маме в руки чуток отдающий махорочкой кулек сахарного песка, того, что давали бойцам из расчета четверть кило на десять дней каждому. Наверное, за счет погибших саперов, числящихся еще живым наличным составом, сэкономил. Вот вам, дорогие, подарок от армии за доброту и заботу вашу, заслужили.

Ближе к ночи, когда бойцы с тихой радостью занимались сугубо штатскими делами — кто стригся, кто брился, кто, как умел, штопал дыры в изношенном «хэбэ» или подшивал подворотничок, — запищала рация с позывным «Серебрянка», и сержант Лебедева позвала к трубке комбата. «Солдатское счастье» приказало долго жить: второй дневальный помчался рысью вызывать ротных командиров.

— Старший лейтенант Терляхин, — хрипел прокуренным голосом майор Малюков, — слушай приказ! Скрытно, без огонька, шума и грохота разобрать сарай за клубом и к утру оборудовать НП у берега, за гранитными валунами. Маскировка — маскхалатами, каптер выдаст, лично проверь экипировку каждого, слышишь, каждого бойца.

— Есть!

— Выполняй! Проверю...

— Капитан Алоев! Веди своих с пилами и топорами в лес, берите три волокуши. Оставь одно отделение здесь разбирать коровники и конюшню. Задача — навести переправу через брод. Всем придется навалиться, подкрепления ждать неоткуда. Торопись! Пока метель, наши танки зайдут к фрицам в тыл, там и загасят гадам свечи! За работу!

Приказ штаба по старенькой, изношенной рации Р-105 принимала она, Аня, записала все дословно несмотря на страшный рев, писк, треск и грохот в эфире. Природный слух? Пожалуй. Плюс скрипка и детские уроки музыкального сольфеджио. Очень кстати капитан Алоев недавно подарил ей трофейную губную гармошку с готическими надписями «Третий рейх» и «Олимпия» на обороте...

Ой, что это? Заливается арией Кармен ее телефончик с усиленным звуком. Внушенька? Дашка? Или опять Оля? Хочет не мытьем, так катаньем получить согласие на встречу? За невоспитанность отчитаю! Нет, все же Даша, внушенька.

— Здравствуй, мое солнышко! Долетели благополучно? Как погода на курорте? Что? Громче, Дашенька, я тебя совсем не слышу...

— Бабушка, роденькая! Громкость подкрути, я тебе показывала колесико. Нормально мы долетели, я из аэропорта звоню...

— Порту что, Даш? Какое порту?

— Бабулечка! Глухендря моя роденькая... А-э-ро-порт! Началась регистрация. Клерки в красных фесках и в синих блузах бегают, все такие деловые, все такие вороватые... Слышишь: «Русские! Кто ко мне за визой, с того 20 баксов, кто хочет два часа в очереди стоять, платите 15». Папуля уже схватился с одним по-прокурорски, мамуля побежала Тимура Теймуразовича успокаивать. Все, бабуль, все, уже наша очередь. Я перезвоню...

В белгородском селе Хлевище у реки Валуй бригада после удачного сооружения переправы простояла еще добрые две недели, пополняясь новобранцами, подлечивая легко раненных в полевом госпитале, утепляясь зимним обмундированием, принимая на баланс не вполне еще пригодное для саперной работы оснащение. Там-то и отличился капитан Алоев, сын гор с огромными сливовыми глазами, сверкающими от постоянного недосыпа. До войны борец, чемпион республики, Теймураз обладал такими огромными ручищами-лопатами, что в одной его тонули обе Анины «детские» ладошки. Понятно, как он хлопнул тогда пятерней по голове немецкого разведчика, ступавшего во главе трех боязливых сопровождающих. Сбились в непроглядную метель фрицы с курса, заблудились в страшном русском лесу, вот и нарвались на саперный наш дозор, где находился в тот момент и ротный командир. Трое рядовых «зольдатен», перепуганные, хнычащие, жалкие, сразу подняли руки в гору: «Гитлер капут!» А старший, бывалый капрал, кинулся напролом в лес. Но далеко ли от желтенького пистолетного патрона ППП убежишь? В левом нагрудном кармане кителя убитого вместе с фотографиями белокурой фройляйн, солдатской книжкой, свернутой вдвое пачкой дойче марок и лежала та губная гармоника, оберег от русской пули. А зачем убегал? Пережил бы плен, живым бы остался...

Алоевский орден Красной Звезды обмывали уже за бревенчатым перекатом, который лихо «протоптали» наши Т-34. Праздновали в пункте связи, проверив вначале, не заминирован ли отбитый у немцев блиндаж. Новое жильё — командный пункт — устроили для командира батальона, майора Малюкова, в два счета. Еще бы! Предстоял редкостный, а потому такой желанный вечер со старшинским НЗ, патефоном, а еще — с захваченной у панически бежавших фрицев кухней, где нашлись и галеты, и конфеты, и шоколадки на радость девчонкам: ей, связистке, трем санитаркам и неохотно согласившейся посидеть за компанию грустной евреечке-снайперу. (Как чувствовала, бедняжка, потерявшая в ровенском гетто обоих родителей, что это и ее последняя ночь.)

Там, в завоеванном блиндаже с капитальным бревенчатым накатом, нарами в два яруса, переносной железной печуркой чтобы обсушиться, обогреться, чайничек вскипятить, даже с входными дверьми, выделили для Ани удобный закуток, плотно занавешенный плащ-палаткой от любопытных глаз. Оглядевшись, она попросила ребят хоть дымовой пашкой, хоть моршанской махрой вытравить из блиндажа приторный фашистский дух. «Парфюмерию», как назвал ее Алоев, из каких-то едких мыльных жидкостей или вонючих порошков, которыми прежние обитатели поливали и посыпали все вокруг против вшей, гнид и чего там еще: клопов, тараканов, крыс, мышей? Наверное...

Капитан Алоев. Отдельная песня. Своих солдат ротный командир берег как родных братьев, мог и по шее, а то и по физии дать тому, кто его приказ нарушал, кто без его команды высовывался. Орал на разгильдяев: «Я не хочу твоей маме похоронку писать, понял?» И еще добавлял вполголоса нечто непечатное. Наиболее недалеким — а кто служил в стройбате, в саперах? Доктора философских наук, что ли? Нет, конечно. Тамбовские кочегары, вятские штукатуры, вологодские плотники, уральские каменщики, пензенские дорожные рабочие... Им он объяснял еще доходчивее: «Ваши причиндалы, так вашу и растак, нашим бабам после войны больше вас пригодятся!»

Счастливым год прожила она с Алоевым после войны. Он — черноглазый подполковник, офицерская выправка, широкие плечи, короткая стрижка-бокс, вся грудь в орденах, она — пусть и после контузии, но не утратившая девичьей стати, миловидности, боевая подруга с наградами на светлом парадном кителе и тремя маленькими звездочками на погонах. Если бы не та эвакуированная из Литвы артистка... Но о ней и о нем Аня узнала не сразу, а совершенно случайно — от соседки по родильной палате, Татьяны. Тогда, когда после тяжелых, с невыносимыми болями во всем теле (ничего себе, потерпи, когда кости раздвигаются!), родов появился на свет сынуля-богатырь — Тимур... Утром солнце для нее ярко вспыхнуло, а к вечеру свет померк. Откровенно разговорились роженицы, и вдруг совершенно неожиданно, к слову, выплыла та горькая правда о регулярных «гастролях» Алоева и литовки в сдаваемой этой парочке внаем Татьяниной квартире... «Я же знать не знала, кто они и чего они, Анечка!» После осторожного обзора из окна палаты «счастливого» отца, Татьяна печально кивнула головой: «Он».

Алоев передал в палату со старенькой акушеркой горячие пирожки с капустой, батон ливерной колбасы, сыр, кефир, конфеты ее любимые «Мишка на Севере», даже умудрился где-то достать мандаринки. Она ничего возвращать не стала, зачем рождать сплетни, устраивать скандал, нервы ей еще пригодятся. Только на его поздравительную записку с заботливым вопросом, как ты там, моя золотая, нацарапала огрызком карандаша на обороте: «Мы хорошо. А ты — чтоб сдох, кобель!»

Может быть, зря она так сразу, может быть, еще можно было сохранить семью, привязав любвеобильного папашу к сыну, — не она первая, не она последняя в роли обманутой жены. У той же Таньки муж давно живет на две семьи, и она об этом знает, в отместку загуляла со своим начальником автобазы... Вот и ты, Анечка, нашла бы действенный способ отомстить неверному дружочку. Но что теперь об этом. Теперь-то уж нечего. А тогда не было рядом никого мудрого — наставить, успокоить, подсказать. Да и фронтовая кровь все еще в полную силу бурлила, бунтовала, бродила, заставляла делить людей только на своих и чужих, на друзей и врагов — без межполося, без оттенков.

...Стоп! Это что, мистика? Придумано? Так на самом деле не бывает? Да в ее долгой жизни чего только мистического, каких только чудесных совпадений не бывало. Нет, ну надо же. Словно по заказу читают на радио стихи любимого Пастернака:

Не слушай сплетен о другом,
Чурайся старых своден.
Ни в чем не меряйся с врагом,
Его пример не годеи.

Чем громче о тебе галдеж,
Тем умолкай надменной.
Не довершай чужую ложь
Позором объяснений.

Борис Леонидович, а я ведь побывала у вас в писательском Переделино вместе с Тимуром, невесткой и Дашенькой. Постояли мы, побродили у окон вашей обители, послушали здешнюю писательницу, точнее, поэта-экскурсовода, оглушившего интимной подробностью... Оказывается, не в сталинских хоробах в Доме на Набережной, где потолки под пять метров, не в Ялте или в Сочи в курортном коттедже с видом на море, а здесь, в затрапезном подмосковном домике, где всепогодное удобство — деревянный «скворечник» — во дворе жил, изумительные стихи писал лауреат Нобелевской премии, автор знаменитого и трижды проклятого романа «Доктор Живаго», принесшего сколько радости, столько же и горя автору.

Анна Тимофеевна задумчиво стоит у окна. Всплывают картинки воспоминаний, как цыганское одеяло, сшитое из разномастных лоскутов, как рассыпающийся на причудливые узоры детский калейдоскоп; вот стеклышки слепились вместе, а вот раскатились, и попробуй точно так же их собери. Никогда не получится. Начала про кого? Про Алоева. Так при чем здесь Пастернак?

Алоев исправно, каждый месяц (в загсе расписаны они не были, считали, бессмысленно влюбленным тратить время из-за каких-то пустых бумажек), без ее просьбы и напоминаний присылал хорошие деньги на Тимура, даже когда сын достиг совершеннолетия и поступил в вуз на юридический. Сын ездил к папаше в гости один раз, после школы. Отец сумел хорошо устроиться в Каунасе; возглавил большое строительное управление, набрал толковых рабочих, приехали к нему даже несколько прежних солдат из его бывшей саперной роты. Алоев умел привлекать людей. А умер, погиб, точнее, более чем нелепо: сорвался с крыши многоэтажки, проверяя по осенней скользоте качество кровельного покрытия. Остался там сын, Арвид, и безутешная вдова, Гражина, которая звонила ей, Анне, просила приехать.

Спасибо. Хорошая ты, вить, душа, Гражина, иначе бы и у тебя счастливая жизнь с буйном, строптивым и своенравным Алоевым не сложилась. Но куда я поеду, в какой Каунас?..

Обиднее всего было, когда ребята при наступлении подрывались на фугасах, заложенных самими же красноармейцами при спешном отступлении в сорок первом. Гибли ребята на своих снарядах, взорвать которые из-за утерянной карты минных полей не успели.

— Осторожнее, братцы! Славяне, внимание! Держим дистанцию! — срывали голоса ротные командиры Терляхин и Алоев.

Да разве обойдется проход по минному полю без парочки тех, которым сам черт не брат? В авангарде, обочь лесных посадок, двигались ряжанцы-односельчане, то ли над чем-то смеясь, то ли о девчонках балагурия, вот и нарвались. На месте одного только закружилась земля да взвихрилось облачко пыли. А другого, гармониста Юрку Дьяконова, взрывная волна вначале подняла в воздух, а затем отбросила метров на двадцать от места взрыва и уложила наземь целехонького. Но... без признаков жизни. И об этом школьникам не надо рассказывать?

Лет десять назад она, тогда еще молодая и крепкая, поддалась на уго-

вот Тимура и отправился с его выпускным классом, учительницей и еще двумя родительницами в путешествие из родного Заворонежска поездом в столицу, а там — по Волго-Донскому каналу теплоходом «Садко» к Днепру — к плотине Днепрогэса. Туда, где когда-то пролегали ее боевые пути-дороженьки. Ох, как стучало сердце, как пульсировала кровь в висках, напоминая о том, что уж, казалось, навсегда-навсегда позабыто...

Неподвижная и необъятная открывалась необозримая махина гидроэлектростанции, как только не воспетая знаменитая Днепровская ГЭС. Установленный на палубе динамик транслировал во всю мощь знаменитый певческий бас: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли...» Ребята охали, девчонки ахали, все щелкали фотоаппаратами, указывая друг другу на впечатляющие подробности...

Тогда, в затянутую пороховой дымкой военную зиму, мудрый комбат Малюков, просидевший с Алоевым и Терляхиным в блиндаже за картой и расчетами почти до рассвета (она, засыпая и просыпаясь у рации, слышала), придумал создать небольшую штурмовую группу, способную предотвратить взрыв плотины фашистами. Об этой угрозе нашим сообщил на допросе пленный гитлеровец-штабист, противный жирный карась с огромной лысой головой и личиком с кулак. Немцы, по его данным, уже успели заложить в машинный зал плотины и под опоры сотни килограммов динамита, протянули на удерживаемый ими противоположный берег провода к пульту управления и ждали сигнала, но кнопку пока не нажимали. Может быть, надеялись, что с помощью своей авиации еще отобьют плацдарм, и потому плотину рушить не стоит.

Посвященный в подробности командир дивизии по прибытии похлопал по плечам комбата и обоих ротных командиров. Но отодвинул их, саперов, подальше («Не вашего ума это дело») и срочно вызвал свой особый резерв — лучших пластунов-разведчиков, способных бесшумно передвигаться, убивать врага без выстрела, ориентироваться днем и ночью в любой обстановке, понимающих друг друга по специальным, понятным только им условным сигналам.

Но штурмовая группа получила задачу практически на ходу, не успев как следует подготовиться, продумав план действий, больше полагаясь на боевую удачу, а потому вернулась с первой попытки молчаливой, злой и уязвленной, притаив на плащ-палатке своего серьезно раненного капитана. Комдив предпринял еще две неудачные попытки штурма, теперь уже с боем, но намного сильнее оказался огневой кулак немца, укрепленный собранными со всех точек пулеметами и автоматами.

Но плотину все равно отстояли. Группа, прибывшая с соседнего фронта, смогла подземными ходами проникнуть к замаскированным точкам врага и устроить гансам полный омлет, закидав гранатами пулеметные гнезда. Знают ли в архивах Министерства обороны поименно тех, кто тогда отличился? Занести бы их звания, имена и фамилии на скрижали Днепрогэса! А тогда... Кто об этом думал? Операция и операция, да, сложная, да, специальная. Но следом были операции гораздо сложнее. Взять тот же спасенный от полного уничтожения польский Краков... Так что невероятно длинным, опасным и мучительным был победный путь к Берлину. А потому все-все мысли о звездах, славе и наградах требовалось отложить. Лучше — не в долгий ящик, а в походный ранец. До востребования...

— Анна Тимофеевна, миленькая, голубушка! Да что же это вы, да как же это вы? Сами... Я же просила вас позвонить, мы бы директорскую машину организовали...

— Олечка, не беспокойтесь, пожалуйста. Ничего страшного не произошло, директор санатория сам предложил мне свою помощь. Прекрасный человек!

— Да, я знаю, это же мой тесть, отец моего мужа, Владимир Васильевич...

— Вот-вот, Олечка, он самый. Но вы мне скажите, я вас ни от каких срочных дел не отрываю, есть у вас полчаса? Нам надо спокойно поговорить.

— Конечно, конечно, Анна Тимофеевна. Какие у меня могут быть срочные дела... Я только дверь закрою и поставлю чайничек. Или вы предпочитаете кофе?

— Да, Олюшка. Если можно, сварите, пожалуйста, чашечку. Спасибо. Я здесь присяду? А вы ко мне поближе, у меня со слухом, знаете ли...

— Понимаете, Оля, за Советский Союз в Великой Отечественной воевал миллион женщин. Были они, как сейчас говорят, в основном фертильного возраста, то есть вполне способные строить семьи, любить, рожать малышей. А им было уготовано идти в ад, в самое пекло, на фронт — санитарками, медицинскими сестрами, радистками, связистками. Встречались мне женщины-партизанки, замечательные летчицы, было много снайперов, среди них — моя лучшая подруга и одноклассница Риммочка, царствие ей... Впрочем, не буду отвлекаться. Я видела женщин боевых разведчиц, классных шоферов, занятых на подвозке боеприпасов пушкарям и строительных материалов нашим саперам. Воевали женщины в пехоте, артиллерии, даже танкистами. Служили, конечно, и при штабах девчонки, были корреспонденты разных газет, ничего плохого ни о ком не скажу, репортеры — такая же боевая профессия, свои статьи они писали не по штабным сводкам, а побывав там, в окопах...

Но все равно, Оленька, о том, что выпало на нашу женскую долю, еще очень мало рассказано, мало, да и во многом не так, не по правде, не как было на самом деле в кинофильмах показано. Я понимаю, сегодня артисткам в кино с их дорогим маникюром и педикюром ничуть не хочется, как нам тогда, валяться в окопной грязи, смраде и кровищи, видеть рядом трупы и обрубки тел. А мы-то через все это прошли, Оля! Мне, воронежской ополченке, восемнадцатилетней девчонке, добровольцу, выдали ППШ; старшина, если опустить его истинный говорок, показал и рассказал, как набивать диски не полностью — под семьдесят один патрон, потому что возвратная пружина слабая, а ставить не больше пятидесяти. И я была из пистолета-пулемета по немцам до последнего патрона, когда грозило нам окружение и полное уничтожение; их разведка была не промах, сняли наших беспечных дозорных, как птичек. Тогда-то я и оглохла, Олечка, когда немецкая граната рядом грохнула. Думала, все, не оклемаюсь... Но Боженька миловал... Спасибо, Олечка! Я кофе люблю, выпью с удовольствием... Нет-нет, вы отвечайте на звонок, не извиняйтесь...

Вот так... И еще одну важную вещь я вам хочу сказать: как же нужно было некоторым нынешним не шибко умным режиссерам и писателям все испохабить, чтобы женщин на фронте показывать только как ППЖ. Да, походно-полевая жена. Конечно, все было. Даже у маршалов. Великий Жуков отдавал грозный приказ по войскам, предупреждая о

наказаний за «половую невоздержанность», а сам, это же известный факт, при оставленной в Москве законной супруге жил с медичкой Лидией Захаровой. Но вправе ли мы его осуждать? Но вот обыватели... Ой, Оля, Оля, это не передать, чего же натерпелись бедные девчонки и женщины-фронтовички, возвратившись победителями домой... Вначале да — вот вам Почетные грамоты, вот вам награды, аплодисменты, цветы, поцелуи, объятия, слезы радости... А потом? Как из мужников поползли, потекли сплетни, наветы, вымыслы, утверждались стали самые последние гадости. Как же только солдаток, натерпевшихся столько бед, столько лиха, столько горя, не обзывали, как их даже самые близкие люди, что уж говорить о подлых сплетницах-соседках, только не обижали. Я знаю случаи, мне писали подруги после войны, когда иные отцы и матери родных дочерей из дома выпроваживали: ты, дескать, весь наш род позоришь, поезжай отсюда куда хочешь. И уезжали. В никуда. С узелками и рыданиями. Ну, это как? Скажу вам и о другом. Знаете, Оля, я отчетливо помню, сама подписывала это письмо: жены военных в 1947 году обратились в Верховный Совет СССР с требованием защитить их права на законные пенсии и наследство мужей, оставивших семьи в военные годы и нашедших себе... ну, как точнее сказать, кто счастье, кто пристанище у других женщин. А как же их дети, рожденные в законном браке? А законные супруги, достойно, верой и правдой ждавшие своих мужей с фронта? Видите, как все непросто? Поди-ка, разберись в каждом конкретном случае, сложном и неоднозначном, путаном-перепутанном...

Я не скажу, что озлобление против женщин-фронтовичек было всегда. Где-то, как мне думается, в семидесятые годы отношение к воевавшим женщинам смягчилось. Понятно, почему. У постаревших вдов, тысячу раз пусть меня Бог простит за это поганое слово — у «брошенок», да я и сама в их числе — стали забываться, затягиваться старые раны. Годы брали свое. А с возрастом на многое смотришь уже совсем иными глазами и воспринимаешь бывшее совсем другим разумом, не тем пылким, юношеским, необдуманым, а холодным, мудрым, взвешенным, вы уж мне поверьте. Бывшие солдатки-фронтовички стали пожилыми мамами, бабушками, а то и прабабушками. Наше сокровенное прошлое, кроме нас самих, ну, может, еще самых близких и преданных друзей, мало кого интересовало...

Притихшая Оля, отставив кофейную чашечку, не сводила глаз с Анны Тимофеевны в ожидании дальнейших ее слов. Но что было еще говорить, когда все сказано. Молчание воцарилось за маленьким журнальным столиком. Благоговейное молчание, как на удачной театральной премьере в переполненном театральном зале...

А с библиотечного стэнда смотрела на Анну Тимофееву увеличенная фотография застенчивой улыбчивой школьницы — выпускницы Анечки Лебедевой в не обмятой еще военной форме, без нашивок и без наград. А поверху на ватманском листе была выведена школьным библиотекарем Олечкой строка из знаменитой шульженковской песни: «О походах наших, о боях с врагами, долго будут люди песни распевать...»

Согласно кивнув зазвучавшим вдруг в душе словам песни, Анна Тимофеевна совсем по-девчоночьи улыбнулась не столько даже Оле, сколько самой себе, портретной. И, вздохнув, поддела: «Вспомним, как на Запад шли по Украине, / Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...»

Они, теперь уже вдвоем, молоденькая и пожилая, готовы были допеть душевную песню до конца, да перебил их дуэт вдруг ворвавшийся школьный звонок. Громкий, протяжный, залиvistый, зовущий.

«Так идти или не идти?»

Анна Тимофеевна привстала. Как когда-то портупею, огладила пояс на платье и, лукаво подмигнув своему двойнику на фото, плотнее заправила под волосы наушники.

То ли ей показалось в этот момент, то ли на самом деле — та большеглазая девчоночка с увеличенной черно-белой фотографии точно так же лихо подмигнула своему оригиналу в ответ и беззвучно приказала: «Вперед, Анечка! Не робей! Прорвемся!» И это означало одно: тверже шаг, надо идти!

